

«Одну книжку может, наверное, каждый написать. Тем более явно автобиографическую. Чтобы судить о возможностях прозаика, надо дожидаться как минимум второй».

В таких высказываниях своя правда есть. И если хочется оценить повесть Георгия Пряхина «Интернат», опубликованную в журнале «Новый мир», иначе, чем обычный, «рядовой» дебют, если хочется поделиться убеждением, что перед нами не просто новая повесть, а новый прозаик, — то это убеждение еще следует доказывать.

Может быть, оно возникает в тот момент, когда чувствуешь, что сам жизненный материал, сколь бы подробно и пластично ни был он выписан, еще не главное. Когда чувствуешь, что в интернате

еще напоминают не о дневнике или автобиографии, а о лирической переписке во время скучноватых уроков. Это повесть в новеллах. А можно сказать — в «орехах».

Потому что так построена каждая новелла. Она начинается с грубой, плотной, защитной фактуры, напоминающей жесткую, несъедобную шкуру, которой в процессе эволюции орех вынужден был обзавестись. Но эта горящая кожура раскалывается, и в середине — каждый раз иначе, каждый раз неожиданно, каждый раз абсолютно убеждающе — чудо тепла, доброты, счастья. Последнее слово даже, наверное, чуть кощунственно в рассуждении о сиротском детстве, но что поделаешь, написано.

Каждый раз. Если однажды чудо преображения не случи-

ТВОЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

НАКОПЛЕНИЕ ЧУДЕС

ты сам не жил, вот и сиротой не был, а нечто до рези в глазах знакомое в предлагаемой картине есть.

Одним, например, интернатская спальня напомнит солдатскую казарму. Другим — общежитие на дальней стройке. Третьим, самым «комнатным», хоть палату пионерлагеря или больницы. Но многие увидят: речь идет о каком-то более общем явлении.

Для самого начала определим его как жизнь вне дома, за пределами родных, семейных стен. Честно скажем, что это не самая удобная и благополучная действительность. Вот ее, говоря словами поэта, «жестокую свободу, ее извилистый закон» и исследует «Интернат».

В самом деле. Рассказ об Учителе, о его судьбе и характере — и то, и другое нелегкое — вдруг перебивается неожиданным, казалось бы, рассуждением: «И есть снобы, которых когда-то здорово переехало в жизни и которым просто ничего не остается или ничего не удастся, как быть снобами». Но многие могут вспомнить, как поражало их замкнутое, даже чуть горделивое достоинство тех, кому пришлось нелегко, но кого судьба не сломила. А кому-то, возможно, придет на память и ахматовская формула:

Но в мире нет людей
бесслезной,
Надменнее и проще нас.

От этой «надменности», право же, недалеко до того «снобизма».

У повести вовсе не простой язык. Начинается с того, что сироты отказываются употреблять этот чувствительный термин. «Мы казенные», — говорят они. А дальше уже нельзя доброту просто называть добротой: явление каждый раз неожиданное, спасительное, как чудо, а слово-то порядком затертое.

И вот о Джеке Свистке, безбожном вруне, придумывающем своей матери все более героическую биографию, мимоходом сообщается: «Когда его классная руководительница, к примеру, отчаявшись найти дежурного, спрашивала: «Кто же у нас сегодня уберет в классе?» — Джек поднимал руку: «Я». Он не любил обычного в таких случаях тягостного молчания. Выводы делайте сами, но вся история Джека Свистка, пронзительнейшая по боли и жалости в этой книге, сложена из таких вот полуиронических недомолвок.

Мне не понравился подзаголовок «Повесть в записках». «Записки» здесь вооб-

лось и Женя Орлов так и остался отвергнутым эгоистом, то взамен нам, проламывая логику сюжета, просто швыряется рассказ о человеке, организовавшем замечательный хор: потому что умел со стариками пить чай. Этот человек вообще не отсюда, но он именно «взамен».

А так, не повторяясь и не надоедая, перед нами скуповато, даже порой мрачновато излагается именно перечень человеческих чудес. Учитель. Катя Рябенская. Сания, который грузит по ночам хлеб и потом раздает его ожидающей спальне. Повариха тетя Шура. Теплый Алексей...

И, может быть, самое яркое из чудес — мать Учителя, бабка Дарья. Не просто любовь почувствовали угластые подростки: неведомо откуда до них дохлестнули тайные волны светскости и изящества, умение «смеяться, любить жизнь, наконец — пить вино и ухаживать за женщинами». Вот как!

Язык повести, наверное, бывает неправильным. Правильность легче соблюсти при холодности. Здесь слово может корчиться, ему не всегда удобно в строке, но оно не холодно: «Из всего, что нужно было Плугову: краски, кисти, советы, — сухая докторская рука Учителя с ястребиной зоркостью выхватила главное: одиночество». Тут два двоеточия, и есть «зоркость руки». Но главное — это рассказ о невозможном, которое было сделано: начинающий художник в тесноте интерната получает не более и не менее как студию.

А вот возлюбленная героя Лена кормит сестренку в столовой. Родителей у них нет. «Посадила ее за свой стол и караулила каждое ее движение. Как мать. А ведь она была, в сущности, такая же девчонка, как та, только года на четыре старше... я даже замер — такая жалость захлестнула меня и к этой маленькой блаженствующей девочке, и к ее сестре, из девических, еще подростковых недр которой до времени выворачивалось болезненное, несчастливое материнство».

Есть и еще такие же по силе места, которые жалко не привести. Но читатель, может быть, выберет другие.

...В повести слышен отзвук, гул: что-то случилось до ее начала. Может быть, это война, может, землетрясение. Но «случается», врывается разрушение. А жизнь потом изпод него выбирается. Постепенно, путем накопления чудес.

А. АРОНОВ.